## ЯБЛОКИ ДЕТСТВА

все время, пока отец возился с дрогами, я с трепетом ждал: возьмет не возьмет. Но проситься сам я не стал, отец не любил, когда лезут к нему под руку — живо даст лупцовки своим широким офицерским ремнем, а то и подвернувшейся под руку хворостиной. Правда, интересного и необычного в тот день было и так уж слишком много: во двор входили незнакомые люди, многие из них почему-то плакали и гладили меня по голове. А бабушка с тетей Мотей и вовсе следили за мной. А мамы почему-то весь день не было видно. Да и вчера тоже я не видел ее — бабка увела меня к себе, и там мы сперва подрались с Колькой, потом залезли в сад, и ночевал я тоже у бабки в сарае... Я уже было совсем чегото забоялся и собирался заплакать, но тут хрипловатый отцовский голос позвал:

— Вань, где ты?

Я петухом соскочил с завалинки и побежал — неловко, косолапо загребая ногами. Мешали великоватые — на вырост — новые ботинки, да и ноги у меня еще сильно болели. И не только ноги; старшая моя сестра рассказывала, что чудом остался жив я в последнюю зиму, ослабевшего от голодухи, рахитошного, меня защепила какая-то жадная глазная болезнь. Я ничего не видел, только орал и тер распухшие до безобразия веки. Мать, закутав меня во все одежки, что нашлись в доме, посадила на салазки и отвезла за семь верст в больницу. И только-только успела. Выходили.

Отец легко, как перышко, сажает меня на грядушку телеги, приказывает сидеть смирно, а сам уходит в избу. Плач женщин становится громче, и вот из избы выносят длинный деревянный ящик и несут на полотенцах по улице. Кто-то берет лошадь под уздцы и ведет ее за людьми. Потом все останавливаются, загадочный ящик ставят на телегу рядом со мной.

— Вот, Вань, — вытирает глаза отец, — осиротели мы. Умерла твоя мама.

Я молчу. Я не знаю, что такое «умерла». И зачем этот ящик. И почему плачут. Но чтото очень тяжелое и страшное ложится мне на плечи, и я боюсь обернуться, вздохнуть, и даже большое красное яблоко, которое сует мне в руки сестренка, ничуть не радует.

Так с яблоком в руке и гробом мамы за спиной еду на кладбище.

В высокой гулкой церкви отец берет меня на руки.

- Попрощайся с мамой, сынок. Поцелуй ее. Отчужденное желтое лицо пугает меня. Я касаюсь губами маминой щеки, яблоко падает и катится по сверкающему церковному полу. Вырвавшись из отцовских рук, я догоняю его и кричу:
  - Мама, дай! Дай, мама!

И на какую-то минуту выше всех в церкви, под самый купол, взлетает мой голос.

Не откликнулась мама. Подскакивая на щербинах как юла, а потом по ступенькам, покатилось мое красное яблочко, и надо было уже самому догонять его.

Остались мы жить вчетвером.

Узкой прерывистой лентой в один ряд тянется Смирновка по низкому левому берегу речки Плаутки. Местами речку вброд можно перейти, а в омутах да плесах, особенно в бучиле — взрослые дна не достают. Весной, по полой воде, широко разливается Плаутка, сносит мост, и целую неделю никто из Смирновки не может попасть на правый высокий берег, где, как и положено, находится весь центр — школа, магазин, правление. Центр называется Ванино, а две прилегающие улицы — Лягушовка и Ханыки. Дружбы между берегами нет, по той, наверное, причине, что правосторонние искони жили у Плаутки; наши же пришли сюда в пору столыпинских хуторов из двух больших сел — Павловки и Тюлюлюя.

И победнее Смирновка. Три-четыре избы сложены из кирпича, остальные бревенчатые, а то и саманные. И сады — только у бабки, да еще у Васи Столповского, на самом краю села.

 Пап, а пап, — спрашиваю я у отца после поездки с ним в гости в Павловку или Черкутино, — а почему у нас садов нет, а?

— Налог высокий был за яблоки, сынок, — серьезно, как взрослому, отвечает он мне, — вот мужики и порубили.

Что такое налог и инспектор, я знаю. Каждый раз перед очередной переписью скота в деревне начинаются потайные разговоры, ночные переброски поросят и овец — корову не спрячешь — из хлева в хлев, в надежде хоть на одну голову, да обмануть власть. Когда инспектор сворачивает к нашей избе, бабка Маринка прячется на печку, а мы, как умеем, врем, а то и вовсе не открываем инспектору дверь. Помню, отец ругался с бабкой:

 В одноряд с кулаками — Пашухой и Васей — вы меня не ставьте. Значит, есть нужда у государства, что налог требует.

— А у тебя ее нету, нужды, глянь, изо всех щелей прет, щи пустые и то не каждый день...

Что верно — то верно: изо всех щелей. Зимой единственное спасение было на печке. Здесь я слушал Зойкины сказки, здесь хранились мои богатства: гипсовый конь без хвоста, фонарик «Даймон» без лампочки и батарейки, конечно, — где их было взять. И ели не жирно — лакомством была жареная картошка.

...Дикий лук и гусиные лапки, щавель и купыри, клен и лепешник, и вся благодать земная, ни в каких словарях не учтенная как еда, — спасибо вам от имени нашего детства, как спасителям нашим спасибо!..

А одевались в тряпье и обноски от двоюродных сестриц и братцев — и за то спасибо! — но жили. И все же... Детство в памяти моей окружено таким волшеб-

ным мягким светом, что и не замечалось ни дыр в валенках, ни грубого хлеба.

И я жил.

Дом — две комнаты, чулан и сенцы, а еще хлев, где корова Зорька да пара ярок. В избе четыре окна. Одно глядит на грейдер — «гридер» по-нашему, по которому топочут лошадиные упряжки, а то прогудит редкая машина. Три остальных окна смотрят в поле, которое уходит далеко-далеко, и интересно думать, что же есть там, где оно поднимается к небу. В светлой комнате кровать, стол, сундук и иконы в углу. В другой, «черной», только русская печь, стол и лавки. В чулане, сделанном впритык к печке, деревянные полати, на них и на печке спит вся детвора.

В сенях стоит еще рундук с зерном да «нашести» для пяти-шести кур и одного петуха.

Не богаче дом моего отца — Прокопыча — выглядит и со стороны. Крытая соломой маленькая избенка обходится без всяких излишеств — без изгороди, палисадника, дворовых построек. Даже стог соломы рядом с избой выглядит так,

и уступил-то отцу избенку задешево по той причине, что каждую весну заливало этот лог по самые уши. Теперь заливает нас. Как только снег начинает бухнуть и сочиться водой, отец роет в сугробах вокруг дома глубокие канавы — дренаж по-научному. Помогаем ему и мы. Копаем, режем кубиками снег, складываем. Это почти игра, и до тех пор, пока не промокнем до нитки, нас в избу не загнать. Но «дренаж» помогает только первое время. После первого же, обычно ночного теплого дождя отец замечает в сером пространстве поля неширокую блестящую полосу.

будто он не имеет к ней никакого отношения. Рядом с избой лог. Бывший владелец

— Вода пошла, — встревоженно сообщает он нам и с лопатой в руках поспешно выбегает во двор отстаивать погреб и стог соломы. Мы за ним.

Лог уже не лог. За несколько минут он превратился в бурный широкий поток. Темная, даже на взгляд ледяная вода стремительно несет в Плаутку пену, солому, случайный мусор, перехлестывает берега и широкой волной накатывается на избу. И пока не пройдет паводок, в сенях и в самой избе воды по щиколотку. Мы почти совсем переселяемся на печку, а иногда к бабке Маринке.

Но что значат мокрые ноги, красные носы и лужи под столом, когда на улице плещется половодье света, вольного теплого ветра, когда солнце прорывается сразу во все окна, и радостное предчувствие лета оживляет наши притихшие за долгие холода сердца.

Отец после матери не женился долго. Отправлялся на работу — он был ветеринаром — и всем в доме заправляла старшая сестра. Кормила сначала кур, потом нас, вытирала носы и раздавала шлепки. А уходя в школу, наказывала спичек и сахара не искать, мне с Иркой не драться и книжки из ее стола не доставать.

Едва закрывалась дверь, мы с сестрой наперегонки неслись к столу и вытягивали завернутую в газету книжку. Сначала разглядывали картинки, потом пририсовывали карандашом усы загадочным теткам и дядькам, и все сходило с рук, пока однажды мы не поссорились и не разорвали «Родную речь» пополам.

Суд был скорый и правый. Мне, как зачинщику и мужчине, попало больше, и я долго хлюпал носом в чулане, боясь присесть на горевшие огнем ягодицы, пока не пришел ко мне отец. Неуклюже положил ладонь на голову, сказал:

— Ладно, куплю тебе «Букварь».

А хоть бы меня так каждый день драли! Совсем, ну ни капельки не больно!

С микроскопом я познакомился раньше, чем научился читать. Отец после войны закончил ускоренные ветеринарные курсы и стал лечить колхозных коров и поросят. Сначала, когда он работал в колхозе «Красный пахарь», ничем от рядовых колхозников не отличался. Когда «Красный пахарь» влили в колхоз имени Шверника, отцу дали лошадь с качалкой. А когда колхоз имени Шверника соединили с «Рассветом» (все эти реформы совершались в течение двух лет) — отец принес и торжественно поставил на стол небольшой ящик из блестящего дерева. Вытащил из него что-то в чистой тряпке, осторожно развернул, и глазам нашим предстала железная штука с изогнутой по-гусиному шеей.

— Микроскоп.

Он выдернул у себя из густой шевелюры волосок, пристроил куда-то, покрутил ручки, посмотрел и пригласил нас. Я не дыша глянул и обомлел. Настоящее бревно, а не отцовская волосина, лежало передо мной. Оторвался от микроскопа — нет, волосина. Посмотрел — лежит себе бревно, да еще по краям светится.

Стекла бабкиных очков тоже увеличивали, я не раз пытался с их помощью рассмотреть, где же в книжке прячутся слова, которые читала мне сестра... Но разве можно очки сравнить с микроскопом!

Когда все вдосталь налюбовались, отец вытер микроскоп, завернул в тряпку, положил в ящик, а ящик спрятал в сундук и строго-настрого запретил нам думать о нем. Неделю мы продержались. Тем более что отец все эти дни работал с микроскопом и частенько разрешал и нам одним глазом взглянуть в удивительный мир. А потом у него начались разъезды по бригадам, и мы с Иркой принялись осаждать Зойку. «Покажи миклоскоп», — надоедливо просил я, а когда Зойка говорила: «Не ной!» — дразнился: «Жадина-говядина, жадина-говядина».

И уговорили-таки. С великими предостережениями, накинув на дверь крючок, Зойка вытащила заветный ящик, так же, как отец, бережно распеленала микроскоп, поставила на стол. После долгих манипуляций со штативом навела на резкость. И началось...

Таракан, наколотый на иголку, под микроскопом был как огромный немецкий танк, который мы видели в кино. У маленькой жужливой мухи противно шевелились глаза. И даже в капле воды из зеленой деревянной бочки кто-то жил.

- «Миклоб», вспомнил я отцовское слово.
- Сам ты миклоб, засмеялась сестра и удивилась: Ты смотри, запомнил.

Микроскоп потом тщательно вытирали, закутывали в тряпку и прятали на место. До следующего отъезда отца.

Закончилось все это быстро. Однажды мы рассматривали вошь, пойманную в моей голове, и забыли закрыться. И когда я на правах владельца рассматриваемого объекта третий раз прильнул к окуляру, тяжелая рука легла мне на плечо и знакомый голос произнес:

— А ну-ка, подвинься.

Я машинально подвинулся, и микроскопом завладел неведомо когда появившийся отец. Избу медленно наполняло грозовое молчание. Отец оторвался от микроскопа, покрутил ручки, убедился в его исправности, долго глядел на нас, кучкой сбившихся у стола, потом, будто кто-то еще был в комнате, сказал:

— Ладно, ваша взяла!

И через неделю привел в дом мачеху.

Отец сдержал слово и купил букварь, когда мне сравнялось пять лет. За полгода с помощью старшей сестры я не только научился читать, но и запомнил все стихотворения. Перечитывать одно и то же стало скучно, и я полез в Иркин портфель... там оказался тот же букварь... Но вот Зойка принесла мне тоненькую книжку:

— Читай, «миклоб».

С замиранием сердца, со слезами читал я историю спасения Жучки. Это не Тема, а я лез в глубокий, страшный колодец ночью, это я срывался со скользкой веревки, и я счастливо засыпал потом.

После «Темы и Жучки» началось мое запойное чтение. Кораблями иных миров входили в меня «Что бывало» и «Белый клык», «Детство» и «Приключения Синдбада-Морехода». Величавые, с высокими парусами, вплывали книги в мои сны, покачивались на струях Плаутки, и ветер, певший в их мачтах, был ветром странствий. От него неясным томлением наполнялась душа и хотелось встать и пойти посмотреть: а что же там, за деревней, за синей каемкой поля.

Первый побег из дома я задумал давно, уже в седьмое лето. Как на сковородке лежала наша Смирновка на Среднерусской возвышенности. Редкие сады и речные заросли были уже исследованы и исхожены. Говорили, что где-то есть леса, города, и перед дождем неясный глухой стук доносился до деревни с запада.

— Это поезд, — объяснил мне отец. — Там железная дорога, станция. Новые, не слышанные раньше слова. И я понял, что должен увидеть поезд.

А потом еще решил я убежать от мачехи. В книжках все они были злыми. Правда, в нашей я зла не видел — скорее, наоборот, но вот не врут же книги. Да и соседка Феколка, солдатская вдова, часто зазывала меня к себе, кормила пирогами и приговаривала:

— Сиротка ты сиротка. При мачехе — не при живой маме.

то лето наша мачеха решила запасти к зиме птичьего мяса да пуха, и у нас появились гуси и утки. Пасти птичий выводок выпало мне. В первый же месяц двух гусят, выбравшихся на грейдер, задавила машина, а еще одного украл ястреб. Отец тогда задал мне такую порку, что все предыдущие вспоминались как безобидные подзатыльники. ...В день моего побега утиный выводок никак не хотел выбираться из светлых

Словом, идея побега созрела — нужен был повод: он не замедлил появиться. В

струй Плаутки возле моста. Напрасно я свистел, звал «ути-ути», бегал по берегу. Потом это надоело, и я стал швырять камни. И вдруг после очередного броска утенок как юла завертелся в воде. В предчувствии непоправимого несчастья я бросился в реку, но, когда добрался до утенка, он уже положил голову на воду, и его крошечное тельце медленно поплыло по течению. Напрасно я раскрывал ему клювик, дул в него — утенок не шевелился. Дороги домой не было. Зато был грейдер, стрелой уходивший за деревню, и я с облегчением шагнул на него. Закатал штаны и решительно пошел в неведомое.

Солнце катилось впереди.

Топ-топ да топ-топ. Дороги тогда были не чета нынешним, даже грейдеры. Мягкая, теплая пыль толстым слоем лежала под ногами. Не успел я и оглянуться, как исчезла за поворотом изба Санюхи Пузатого и жирной зеленой полосой лег поперек моего пути ров. Я остановился.

Рассказывали, что когда-то, во время войны, ров этот выкопали как противотанковый, и тянулся он от Смирновки до самой Павловки. Но немцев к нам не пустили, а ров после войны так и не засыпали — нашлись дыры пошире. Склоны и брустверы заросли ковылем и пыреем, лопухами и щавелем. Здесь можно было наткнуться на полянку земляники, а то и паучью нору. В послевоенную пору водились здесь и волки, так что для остановки моей причины были.

Но тут загудел сзади мотор, фыркнула дымом и пылью машина и, чуть проехав, остановилась. Дверца приоткрылась, и шофер насмешливо оглядел меня.

- Эй, солдат, далеко курс взял?
  - На станцию, дядя, опасливо подходя к нему, сказал я.
  - Эге... на станцию. Далековато. И по какому такому делу?

Ну, тут уж меня голыми руками не возьмешь. Мало ли какие дела, к примеру, могут быть у человека на станции.

— К отцу. Он лес там грузит.

Лес для колхоза мужики ездили разгружать часто. Я это знал. Знал и водитель. И потому, поколебавшись, протянул мне руку — залезай.

Сердце мое подпрыгнуло. Я сидел в настоящей машине, по обеим сторонам с невиданной скоростью летели мимо полосы полей. И дорога, как лента, туго наматывалась на колеса.

- А почему у машины белая полоса?
- Почту возит.
- А сколько она выжимает?
- Сто.
- А бибикнуть можно?
- Давай.

И я ладошкой изо всех сил давил в тугую крышечку гудка, машина басовито крякала, и так вот, с пылью, с шумом, летели мы мимо встречных сел, прудков, стай гусей и уток, торошиво разбегающихся от дороги

стай гусей и уток, торопливо разбегающихся от дороги. Кто бы знал, как хотелось мне, чтоб не кончалась дорога, и как завидовал я шоферу, который совсем об этом не подозревал: знай себе крутил баранку, да как крутил — небрежно, одной рукой, а машина будто сама выбирала дорогу. Ну,

примерно, смахивало на то, как отец ездит на лошади; возьмет вожжи в руки, а

Чалый бежит сам, и сам знает, где ему направо, а где налево, а возле какого двора и вовсе встать.

Я и сказал об этом шоферу, в сотый раз, наверное, назвав его дядей. Он рассмеялся.

— Зовут меня Василием, если хочешь — Василь Никитичем. А насчет лошади ты ошибся: тут их у меня целый табун — пятьдесят штук, только распусти вожжи — расшибут.

Цифра меня поразила. Считал я всего до двадцати, да и то если был разутый — счет знал только по пальцам. И, вспомнив взрослые разговоры, вздохнул, мечтательно произнес:

— Вот бы их в наш колхоз. Небось сразу «Пахарь» на ноги встал. Хлеба бы дали — вволю.

Василий быстро взглянул на меня, досадливо крякнул и свободной рукой открыл какую-то маленькую дверцу прямо перед моим носом, вытащил газетный сверток и положил мне на колени:

Подрубай. А то в ресторан можем не успеть.

Насчет ресторана я не понял, а в газете оказалось два яйца, хлеб, несколько перьев зеленого лука и разрезанный на дольки кусок пожелтевшего сала.

Я замялся. Есть хотелось, но чтобы вот так, с первого приглашения кинуться на еду — не мог.

А Василий глядел вперед и как о чем-то постороннем рассуждал:

— Вообще-то голодными шоферов и пассажиров в дорогу не пускают. Ну а вдруг затошнит — сразу с грейдера съедешь. Или пассажиру плохо станет — хлопот не оберешься. Первое — надо остановиться, положить его на травку, воды принести, а тут милиция, не дай бог. Да и с другой стороны, подумай, зачем он мне такой — если не ест? Сразу торможу. Затормозить, понятно, не всегда успеваю.

С набитым ртом я только испуганно кивал Василию Никитичу.

- Порядок, похвалил он. Расправил свои пшеничные, аккуратно подрубленные усы и подмигнул.
  - Теперь бы пивка, а?
  - И я, преданно глядя в его веселые серые глаза, поддакнул:
  - Пивка это да.

Станция появилась перед глазами огромным серым домом, на крыше которого яблоком лежало солнце.

- Ого, дом какой? А кто в нем живет?
- Никто. Это элеватор. В нем хлеб хранят. Дорога вбежала в поселок и разбилась, разбежалась веселыми, узкими улочками. На одной из них, возле большой бревенчатой избы с деревянным забором, остановились и мы. Василий Никитич сказал, что василы разгружают рядом, прямо за этой улицей, а потом добавил:
- Навестишь отца возвращайся сюда. Я через два часа обратно тронусь, усек?

Тут бы мне и признаться, да стыдно стало. Что же я перед таким хорошим человеком врунишкой окажусь. Я замотал головой, сказал «спасибо» и побежал к станции.

А там по блестящим полоскам железа катился паровоз — больше колхозного амбара! — и пфыкал так, что пар закрывал весь перрон...

Глаза мои разбежались... Я то смотрел за вагонами, то — сбылась моя мечта — трогал руками рельсы, то следил, как машет флажками дядька в форменной фуражке. А на медной доске, прибитой к стене станции, я, спотыкаясь, прочитал:

«Здесь в 1892 году работал сторожем великий русский писатель Алексей Максимович Горький (Пешков)».

...Уже поздним вечером нашел я улицу и дом, где мы остановились. Но машины с белой полосой и вообще никакой машины здесь уже не было.

Нало было искать ночлег. На станцию илти побоялся: к вечеру там появилось много взрослых и мальчишек. Или задержат, или отлупят. И после блужданий попал я на рынок; в большом ларе нашлась солома — видно, лошадей кормили, — я зарылся в нее и попытался уснуть. Куда там: все мне казалось, что кто-то недобрый смотрит из темноты, что-то бормочет. А то вдруг пробежала огромная в темноте собака.

Трудно сказать, сколько прошло времени, когда и в самом деле послышались чьи-то твердые шаги, луч карманного фонаря пробежал между ларями и, наткнувшись на меня, остановился. Знакомый голос сказал:

Не бойся, путешественник, это я...

И, вытягивая меня из соломы, Василий проворчал, что весь поселок пришлось обойти. Хорошо, он знает, что деревенские без соломы жить не могут, а солома-то только на рынке.

Остаток ночи я проспал на одной кровати с его сыновьями. Василий Никитич ни о чем меня не спрашивал, но, когда утром ехали домой, я сам ему все рассказал: и про утенка, и про мачеху, и про то, что буду шофером, как он.

Намерение мое Василий Никитич одобрил, а насчет всего остального сказал:

— Подрастешь — поймешь. Но чует мое сердце: не спали эту ночь ни твой отец, ни мать. А им сейчас на работу.

Протянул мне крепкую, бензином пахнущую ладонь и укатил к мосту — и дальше. И никогда я больше не видел его и не слышал о нем.

Но часто в моих странствиях — в мягком ли кресле автобуса, в такси ли, на грузовике — я, глядя на дорогу, чувствую, что опять я в бегах от привычного и надоевшего. И теплится, охватывает меня надежда, что вот сейчас, как в детстве, через минуту вынырнет мне навстречу новый, невиданный и, конечно, чудесный мир.

## ЛЕЙ

🤻 ще и солнце не успело пробиться сквозь ивняковый плетень у сарая, а 

— Вставай, сынок... Лей приехал.

Лей — колхозный бригадир Алексей Матвеевич. Каждое утро объезжает он на своей подрессоренной двухколеске-качалке избы, посылает баб и мужиков по нарядам. Мне до мужика далеко, только пятый класс кончил, но работаю и я. Подвозил воду на плантации, а теперь вот Лей уговорил отца посадить меня на культиватор. Пыли много, зато и трудодни большие. К тому же всю траву можно забирать домой. Отец, хоть ему и жалко меня, соблазнился легким сеном для нашей Зорьки. Да оно и понятно: колхоз «Красный пахарь» маломощный, свое-то стадо содержит еле-еле, а той весной и солому для лошадей приходилось дергать с крыш.

Мне же отеп пообещал:

Велосипед осенью куплю.

Я обомлел. Велосипед в деревне был только у моего ровесника Витьки Аржака. Сверкающий никелем, с голосистым звонком, на рулевой колонке — вольная чайка.  $\bar{\mathbf{y}}$  отчаянно мечтал о таком же. Но до велосипеда ли семье из пяти ртов, где купить ботинки в школу — и то задача. Я недоверчиво протянул:

- Да... а потом скажешь: «Грязь, снег, зачем велосипед?» Лучше лыжи.
- И лыжи, расщедрился отец. Бригадир, молча смоливший козью ножку, обронил:

— Деньги мы тебе лично дадим. Лей (на бригадирском языке это слово заменяло «если» — отсюда и прозвище пошло) отец слова не сдержит, на правлении доложим.

...Лей приехал — сну конец. Я подскакиваю с закрытыми глазами; еще досматривая летучие утренние сны, кое-как одеваюсь, обуваю отцовские латаные-перелатаные офицерские сапоги, сажусь за стол. Лей как обычно толкует о чем-то с отцом и дымит. Мачеха наливает молоко, я пью, вполуха слушаю, о чем говорят мужчины, и разглядываю в окно крупные, узловатые сучья на старом клене. Чем-то похож на него жилистый, мосластый Лей. Даже вместо левой руки у Лея — деревянный протез, держит он его в кармане пиджака.

Мой отец и Лей — фронтовые друзья. Выпив, они всегда поют одну и ту же песню.

Товарищ, товарищ, болит голова, Тревога промчалась над нами—

высоким голосом начинает отец.

От крови бойцов потемнела трава, —

басисто включается Лей, —

## Склони свое Красное знамя.

Я люблю слушать их. Я вижу, как падают раненые бойцы, как темнеет от их крови трава, и отчего-то становится — до слез — жалко отца с Леем. Хочется защитить кого-нибудь и вообще совершить что-то героическое. Такая это песня.

...Прямиком по кирпичной кладке через речку Плаутку бегу на «табор» — так называется в колхозе машинный двор. Как бы рано я ни пришел сюда, Женька Овчаров, круглолицый веселый мой напарник, уже возится возле своего «Беларуся». Беру у него шприц, набиваю солидолом, лезу смазывать культиватор.

— Постой, — хохочет Женька. — Я уже все сделал.

Цепляем культиватор — и в поле. Там, где по полю прошли сверкающие ножи культиватора, убегают к горизонту ровные зеленые рядки свеклы. Трактор осторожно выезжает на плантацию, я дергаю рычаг, и лапы врезаются в землю. Началось. Мое дело следить, чтобы не срезало зеленые кустики свеклы, чтобы строго по междурядью шли ножи, чтобы проклятая повилика не забивалась между ними.

Делаем круг, второй. Когда идем на ветер, я даже умудряюсь петь песни. А вот когда ветер в спину — пиши пропало. Пыль облаком висит над трактором, лезет в нос, скрипит на зубах. Не успеваю отплевываться. Жирные зеленые плети повилики забиваются между ножами, крючком их не выдернешь, приходится дергать за сигнал-проволочку, протянутую в кабину: стой!

Останавливаемся, вместе с Женькой лезем под культиватор, чертыхаясь, охапками выгребаем траву.

К полудню, осторожно пробираясь между рядками, появляется Лей. Пристраивается на полосе, долго наблюдает за нашей работой, потом машет рукой:

— Лей ты (Женьке) остановишь, а ты (на меня) поднимешь, а ты (на Женьку) сдашь назад, трава сама будет сваливаться. Только не дожидайтесь, пока забьет. Почаще.

...Проходит мое лето. После свеклы опять воду возил на комбайны, скирдовал солому. А в конце августа колхоз рассчитался со всеми школьниками. Толстая тетка-бухгалтер показала мне пальцем место, где надо расписаться, и я получил в

руки небывалое богатство — шестьсот тридцать шесть рублей, да еще целых два мешка пшеницы. Хватит и на велосипед да новые ботинки...

— Оно, конечно, заработку своему ты хозяин. Тут слов нет... Татьяна вот просит помочь, а с чего, я и не знаю. У нас так-сяк, хоть картошки наешься, а в городе, сам знаешь, без живой копейки никуда, много не научишься.

Танька, моя старшая сестренка, учится в городе, в техникуме. Я гляжу на отца, и, видно, такая боль в моем взгляде, что отец не выдерживает, отворачивается.

— Оно, конечно, — тихо говорю я. — Пособить надо.

И повторяю его, отцовскую, поговорку: — «Деньги — гость: нынче нету — завтра горсть».

На другой день меня, пасмурного и тихого, ловит на улице Лей.

- Лей ты щас со мной поедешь в Черкутину, назад привезем веломашину.
- Танька у нас больно нуждается, Алексей Матвеевич, говорю я. Вот пособить решили. В городе без живой копейки, сами понимаете...

Алексей Матвеевич молчит и долго трогает рукой протез — будто тот болит.

— Ну, лей такое дело, — понимающе говорит он и уезжает. А я иду собираться в школу. Завтра топать в Черкутино за семь километров и опять завистливым взглядом провожать Витьку Аржака, для которого дорога на велосипеде — просто удовольствие.

...Почти через месяц, когда уже сплошные облака стояли над озябшей землей, забежал к нам ввечеру рассыльный.

— На собрание собирайтесь. И ты, и малый твой...

На собраниях, хоть меня приглашают в первый раз, я уже бывал. Иду с неохотой. Будут опять говорить о своих взрослых делах, ругаться, дымить самокрутками.

Так и было. А потом председатель, коренастый мужичок в солдатской гимнастерке, сказал:

— Товарищи колхозники. Тут мы на правлении решили наградить наших школьников за хорошую помощь. Вот... Почетной грамотой и ценным подарком награждается...

Я поднялся на сцену. Гладкий, разукрашенный лист бумаги с печатями председатель вручил мне, пожимая по-взрослому руку, а я во все глаза заглядывал ему за спину: что за ценный подарок?

И тут на сцену из боковушки бригадир Лей вынес... велосипед. Легонько толкнул его под седло, как мать малыша по попке, и велосипед — настоящий! взрослый! — покатился ко мне, и электрическое солнце рассыпалось от его спиц по всему потолку, а я стоял и не мог очнуться от столбняка.

Потом я вел велосипед за его сверкающие рога, и ни одной мысли не было в голове — и, только отойдя от правления, заорал упоенно:

Товарищ, товарищ, болит голова, Тревога промчалась над нами, — От крови бойцов потемнела трава, Склони свое Красное знамя.

И если мне бы сказали, что песня эта вовсе неподходящая для громадного моего праздника, ни за что бы не поверил.

Это была песня победителей, вот ведь в чем главное дело.

